

Игорь Потоцкий

Стихи о моей еврейской родне

*

Двенадцать моих родственников погибли в Лодзинском гетто.
Среди них были адвокаты, ремесленники, домовладельцы,
один приказчик, красивая девушка Голда. Перед рассветом
их вывели на площадь и расстреляли.
Говорят, Голда смеялась перед расстрелом.
Ее дядя Соломон кричал, что он не боится смерти.
Осеннее небо заплакало и посерело.
Двенадцать моих родственников обрели бессмертье.
Они, как и другие, стояли перед расстрельной командой,
и даже неверующие молились вечному богу.
Они устали от страха – смерть всегда находилась рядом,
каждый из них столетие носил тревогу.
Дядя Соломон призывал проклятия
на головы солдат, офицера, остальные молчали.
Дядя Соломон кричал: немцы, вы спятели,
но считайте, что ваши души навечно пропали!
Красивая девушка Голда могла стать любовницей
начальника гетто, он ее добивался долго.
Она его отвергла, назвав уродом,
и тогда он велел собрать всех ее родственников.
Я не знаю, кем мне была девушка Голда,
двоюродной или троюродной тетей. Это неважно!
Она стояла перед расстрельной командой
легкой, красивой, стройной, бесстрашной.
Эта девушка Голда мне часто снилась.
У нее были огромные глаза, и ее тело

переливалось всеми цветами радуги,
при этом, как зимняя вьюга, звенело.
Я ей одной рассказывал свои секреты,
она мне давала советы не слишком часто.
Она была светлой и нежной. Ей было двадцать.
В нее влюблялись. Она не успела влюбиться.
Я однажды долго гулял по Лодзи, и со мною
гуляли тени двенадцати моих родственников,
погибших в Лодзинском гетто. Я плакал над ними,
а девушка Голда просила меня: не плачь!

*

Мой дед Борис из Лодзи, бабушка Циля из Балты.
Дед был революционером, бабушка верила в черта.
Общим языком у них был идиш со дня свадьбы.
Все слова на идиш они выговаривали четко.
Дед работал на джутовке начальником переплетного цеха,
по вечерам он читал бабушке Юлиана Тувима.
Дед не стремился к богатству,
дед не стремился к успеху
и никогда не был ангелом и херувимом.
У деда Бориса и бабушки Циля две дочери,
они приглашают друзей и под патефон танцуют.
Пишут в дневниках непутевые строчки,
смеются и очень часто рискуют.
Дед никогда не произносит фамилии Троцкого,
но и Сталина он никогда не превозносит.
Он уверен, что в жизни много уродского,
но как прекрасна ранняя осень.
В 41-м дед записывается в ополчение.
Бабушка плачет. Бабушка его не отпускает.
Дед вырывается. Над его головой свечение.
Бабушка его целует и ладонью лицо ласкает.
Грохот артиллерии. Шквал бомб и снарядов.
Дедушка в окопе по фрицам стреляет.
Смерть с косою находится совсем рядом.
Дедушке порой воздуха не хватает.

Бабушка с дочерьми оказывается в Ташкенте.
Дедушка ранен, он их находит.
Яркое солнце над Ташкентом светит,
спелая луна ночами по крышам бродит.
Дедушка снова воюет, бабушка плачет.
Моей маме и тете совсем не весело.
Они уже знают, что многие их родственники
стали пеплом. Они плачут и плачут.
Дедушка умер в пятьдесят третьем,
он пережил Сталина на четыре дня.
Плакали капли дождя на рассвете
вместо меня.
Я был слишком маленьким...

*

Мой родственник Соломон Фриман любил шипучие вина
и еще рассказы о женщинах, они бросали его постоянно.
Я понимал этих женщин – Соломон был слишком разговорчив,
остановить его было невозможно, я быстро сдался.
Он был маленьким и толстым, мечтал о высоких красотках,
вечно ругался со своей второй женой Дусей.
У него тогда была великолепная борода,
и в глазах его совсем не было грусти.
Он цеплялся к женщинам, как пиявка,
он пел арии из опер, безбожно фальшивя.
У него была воображаемая любовница Славка,
она была замужней, но по субботам грешила.
Соломон упивался рассказами о высокой леди,
бывшей баскетболистке, под два метра.
Этой воображаемой Славкой он долго бредил,
хотя она состояла из облаков и ветра.
Он говорил: она – гойка, но это я ей прощаю,
она всегда бесподобна в постели.
И после каждой любовной сцены я ее угощаю
шоколадными конфетами, я при деле.
Из него получился бы замечательный сатирик,
он умел смеяться над собой и судьбою.

Мне всегда казалось, что он – прирожденный лирик,
но он ничего не записывал – просто трепался.
Потом он уехал в Австралию с противной Дусей,
оставив мне воспоминания о милой Славке,
которая на него продолжала дуться
и часами в парке сидеть на лавке.
Он просил ей позвонить, но забыл мне оставить
номер ее телефона, только сказал, что она в Одессе.
Я не получил ни одного письма от Соломона,
значит, ему хорошо. Остальное – неважно.
Но мне до сих пор не хватает его рассказов о Славке...

*

Мой дядя Наум собирал телевизоры и был хасидом.
Он радовался жизни и своим женам, трем сразу.
С двумя он развелся, а третья его пилила,
говорила, что зря за него вышла замуж.
Она была тонкой и высокой, кричала, как птица,
но потом целовала дядю Наума, просила прощенья,
говорила, что только его любит – и точка.
Дядя Наум приходил к своей сестре Циле
по воскресеньям, они вишневую пили наливку
и вспоминали Балту. Им нравились воспоминания.
Дядя Наум был маленьким, но шустрым. Он носился
по Одессе, как солнечный зайчик. Чинил телевизоры
и радиоприемники, а еще утюги и настольные лампы.
Он читал Менделе Сфорима. Всю жизнь только одну книгу.
И ходил к хасидскому ребу за утешеньем, а потом
навещал двух своих первых жен и вместе с ними плакал
над загубленной жизнью. И приносил подарки
своей жене и сестре – моей бабушке Циле.
На дни рождения дяди Наума собирались все родственники.
Три жены сидели рядышком. Все ели и пили.
И говорили, что хорошо жить в Одессе.
А потом тетя Роза уехала к кенгуру, дядя Леня в Нью-Йорк,
тетя Ида в Оттаву. И у меня почти никого не осталось в Одессе.

*

Мой прадед Барух Клигман учился в Венском университете на философском факультете, его называли в честь Спинозы. Был он юн и строен, и мудр, и светел, знал, что существуют на свете дождинки-слезы. Он выступал за всеобщее братство, за вечное на планете лето. Его не любило университетское начальство, исключило из университета с волчьим билетом. Его выгнали из Австрии. Он написал: жизнь – как речка, всякий раз меняющая свое течение. Он оказался в забытом богом местечке, но оно, как ему показалось, имеет свечение. Он женился на моей прабабушке. Копался в огороде. Родились две дочки. Местечко набило оскомину. Дедушка уехал в Париж. Там до сих пор бродит тень его, повторяющая, как заклинание: хочу на родину! Там он снова женился на добропорядочной Саре, учился заново, стал раввином отменным. Он записал в тетради: каждый сам себе барин. После строчки: сегодня долго бродил над Сенной. Мой прадед Барух Клигман был подрублен войною, он не вернулся из гетто. Никто из семьи не выжил. Он что-то писал в тетради перед каждой зарею, но та тетрадь пропала – растворилась в Париже. Он был хорошим раввином, строгим и мудрым, у него от двух жен было пятеро нежных дочек. Троице из них он часто покупал книги и куклы, и каждой из них посвящал по пятнадцать строчек. Он помогал сирым, больным и увечным, голос его никогда не срывался в гнев. Он размышлял постоянно, что значит *вечность*, как к ней относятся Юг, Восток, Запад и Север. Он бродил по Парижу, читая Гюго и Верлена, он не знал, что я напишу о нем стихотворение. Горькое стихотворение, как убитое еврейское местечко, оплаканное ветрами, дождями, длинной метелью.

*

Дядя мой Мойша Грубер имел четырех детей,
он работал грузчиком в мебельном магазине.
Мне кажется, что не было его добрей и светлей,
а он любил небо и воздух прозрачно-синий.
Он повторял часто: евреи всегда на добро
отвечают добром, улыбаются солнцу и ветру.
Он не копил золото и серебро,
а только осень, зиму, весну и лето.
Ходил в старенькой шляпе осенью и зимой,
покупал детям халву, шоколадки, конфеты.
Ишачил в две смены, но, приходя домой,
обязательно просматривал «Литгазету».
Никого не поучал, ни на кого не серчал,
любил тетю Розу, дарил ей цветы и вздохи.
Читал книги по истории. Порой ворчал,
что простым людям всегда достаются крохи.
Он не ходил в синагогу. Любой музей
обходил стороной, смеялся басом.
Выводил в выходные на прогулку детей,
придумав для них волшебника Делабаса.
Делабас был славным. Любил котов и мышей,
собирал почтовые марки и монеты.
Делабас был загадочен, как Кощей,
переплывающий брассом речку Лету.
Дети говорили: рассказы твои класс,
и прогулки с тобою на пятерку с плюсом.
А Мойша Кригман про себя думал: стараюсь для вас,
и невероятно раздувал свое пузо.
Дети стали большими. Один из них врач,
второй – коммерсант, две дочери – авантюристки.
И уже внуку Мойша Грубер твердит: не плачь –
волшебник Делабас от нас совсем близко.
Он из бумаги делает бороду и усы,
надевает старый сюртук и невероятные брюки.
На губах его играет улыбка лисы,
когда он танцует танец буги-вуги.

Внук хлопает в ладошки. Плюшевый медведь
ухмыляется. Гасится свет, загораются свечи.
На любой вопрос малыша у Мойши найдется ответ.
...Сейчас вечер.

*

Моя мама Рая любила папу Иосифа.
Ее присутствие поднимало его настроение.
Папа был старше мамы на восемь лет.
Он спрашивал:
– Неужели не знаешь, как ты прекрасна?
– Повтори свой вопрос, – просила мама.
Иногда они целовались на одесских улицах,
но пытались скрыть свои поцелуи.
Папа воевал три страшных года.
– Хорошо, что я тебя тогда не знала, –
говорила моя молоденькая мама.
Она звонко смеялась и учила
папу танцевать вальс,
но у него не получалось.
– Ты совсем не стараешься, –
с упреком говорила мама.
Папа уходил на балкон,
иногда вместе со мною.
– Что вы там делаете? –
спрашивала моя красивая мама.
– Слушаем голоса деревьев.
Одесса залечивала свои военные раны.
Мама улыбалась папе,
а он посылал ей ответную улыбку
и говорил мне:
– Как твоя мама прекрасна!
А я ему верил.

